

Pierre Augustin Caron
BEAUMARCHAIS
1732 – 1799

БОМАРШЕ

*Севильский цирюльник,
или
Тщетная
предосторожность*

•

*Безумный день,
или
Женитьба Фигаро*



Санкт-Петербург

УДК 821.133.1
ББК 84(4Фра)-6
Б 80

Тексты печатаются по изданию:
Бомарше. Избранные произведения. М., 1954.

Перевод с французского Николая Любимова

Серийное оформление Вадима Пожидаева

Оформление обложки Валерия Гореликова

Бомарше
Б 80 Севильский цирюльник. Женитьба Фигаро : пьесы /
Бомарше ; пер. с фр. Н. Любимова. — СПб. : Азбука,
Азбука-Аттикус, 2019. — 304 с. — (Азбука-классика).
ISBN 978-5-389-02978-1

«Севильский цирюльник» (1775) и «Женитьба Фигаро» (1784) —
две бессмертные комедии, ставшие вершиной творчества Бомарше-дра-
матурга. Написанные в преддверии Великой французской революции,
они вот уже свыше двух столетий не сходят со сцены. Их сюжеты легли
в основу либретто опер Дж. Россини и В. А. Моцарта.

УДК 821.133.1
ББК 84(4Фра)-6

ISBN 978-5-389-02978-1

© Н. В. Любимов (наследники), перевод, 1954
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательская Группа
„Азбука-Аттикус“», 2011
Издательство АЗБУКА®

***Севильский цирюльник,
или
Тщетная
предосторожность***

Комедия в четырех действиях

Я был отцом и умереть не мог!

«Заира», действие II

СДЕРЖАННОЕ ПИСЬМО
О ПРОВАЛЕ И О КРИТИКЕ
«СЕВИЛЬСКОГО ЦИРЮЛЬНИКА»

Скромно одетый автор с поклоном подносит читателю свою пьесу.

Милостивый государь,

Имею честь предложить вашему вниманию новую мою вещьцу. Хорошо, если бы я попал к вам в одно из тех счастливых мгновений, когда, свободный от забот, довольный состоянием своего здоровья, состоянием своих дел, своею возлюбленною, своим обедом, своим желудком, вы могли бы доставить себе минутное удовольствие и прочитать моего *Севильского цирюльника*, так как без этих условий человек не способен быть любителем развлечений и снисходительным читателем.

Но если, паче чаяния, ваше здоровье подорвано, ваши дела запутаны, ваша красавица нарушила свои клятвы, ваш обед оказался невкусным, а пищеварение ваше расстроено, — о, тогда оставьте моего *Цирюльника*, вам сейчас не до него! Лучше подсчитайте свои расходы, изучите «дело» вашего недоброжелателя, перечтите предательскую записку, найденную вами у Розы, просмотрите образцовые труды Тиссо о воздержании или же размышляйте о политике, экономике, диете, философии и морали.

Если же состояние ваше таково, что вам непременно надо забыться, то сядьте поглубже в кресло, разверните буйонскую энциклопедическую газету, издающуюся с дозволения и одобрения, и часика два подрежьте.

Разве произведение легкого жанра способно рассеять мрачные думы? В самом деле, что вам до того, ловко ли цирюльник Фигаро провел доктора Бартоло, помогая сопернику отбить у него возлюбленную? Не очень-то смешит чужое веселье, когда у самого на душе тяжело.

Точно так же не все ли вам равно, что этот испанец-цирюльник, приехав в Париж, испытал превратности судьбы и что моим досужим вымыслам могли придать слишком большое значение только благодаря тому, что Фигаро было запрещено заниматься своим ремеслом? Чужие дела возбуждают любопытство только в том случае, когда за свои собственные беспокоиться нечего.

Итак, все у вас благополучно? Вы можете кушать за двоих, у вас хороший повар, честная возлюбленная, а покой ваш ничем не нарушен? О, тогда поговорим, поговорим! Прошу вас, уделите внимание моему *Цирюльнику*.

Я прекрасно понимаю, милостивый государь, что прошли те времена, когда я, всюду таская с собой свою рукопись и напоминая прелестницу, часто отказывающую в том, на что она всегда горит желанием согласиться, скупое читал мой труд избранным лицам, а те полагали своею обязанностью платить за мою любезность высокопарною похвалою.

О счастливые дни! Время, место, состав слушателей — все мне благоприятствовало, очарование искусного чтения обеспечивало мне успех, я проглатывал слабые места и подчеркивал сильные, затем с горделивою скром-

ностью, с полуопущенным взором принимал знаки одобрения и упивался торжеством, тем более отрадным, что три четверти его не доставались на долю мошенника-актера.

Увы, какими жалкими представляются теперь все эти ухищрения! Теперь, когда нужны чудеса, чтобы покорить вас, когда один только жезл Моисея мог бы что-нибудь поделаться, я лишен даже той силы, какую обладал посох Иакова: больше не существует ни фокусов, ни плутовства, ни кокетства, ни модуляций голоса, ни театральной иллюзии — ничего. На ваш суд я отдаю мое дарование таким, каково оно есть, без всяких прикрас.

Пусть же не удивляет вас, милостивый государь, что в выборе слога я считаюсь с моим положением и не беру примера с тех писателей, которые позволяют себе небрежно обращаться к вам: *читатель, друг читатель, дорогой читатель, благосклонный, любезный читатель*, или же дают вам какое-либо другое фамильярное, я бы даже сказал неблагопристойное, название, с помощью коего эти неосмотрительные люди пытаются стать на равную ногу со своим судьей, хотя ничего, кроме недоброжелательства, это в нем обыкновенно не вызывает. Не было такого случая на моей памяти, чтобы чванство кого-нибудь пленило, — добиться от гордого читателя известной снисходительности можно только скромностью.

Ах, еще ни один писатель так не нуждался в снисходительном отношении, как я! Тщетно стал бы я это скрывать; когда-то я имел неосторожность в разное время предложить вашему вниманию, милостивый государь, две печальные пьесы, два, как известно, чудовищных произведения, ибо теперь уже для всех ясно, что нечто среднее между трагедией и комедией не должно существовать; это вопрос решенный, все, от

мала до велика, о том твердят. Я сам в этом до такой степени убежден, что если б я сейчас захотел вывести на сцену неутешную мать, обманутую супругу, безрассудную сестру, сына, лишенного наследства, и в благопристойном виде представить их публике, я бы прежде всего придумал для них дивное королевство на каком-нибудь архипелаге или же в каком-либо другом уголке мира, где бы они царствовали, как их душе угодно. Тогда я уже был бы уверен, что мне не только не поставят в упрек неподобные интриги, невероятность событий, ходульность характеров, преувеличенность идей и напыщенность слога, но, напротив, именно это и обеспечит мне успех.

Изображать людей среднего сословия страдающими, в несчастье? Еще чего, их следует только высмеивать! Смешные подданные и несчастные короли — вот единственно существующий и единственно возможный театр. Я со своей стороны принял это к сведению — и кончено: больше я ни с кем ссориться не желаю.

Итак, милостивый государь, некогда я имел неосторожность написать пьесы, не принадлежащие к *хорошему жанру*, — я искренно в этом раскаиваюсь.

Затем, в силу некоторых обстоятельств, я рискнул выступить со злополучными *Мемуарами*, и недруги мои признали, что они не отличаются *хорошим слогом*, — меня за это жестоко мучает совесть.

Нынче я вам подсовываю презабавную комедию, которую кое-кто из законодателей мнений не считает произведением *хорошего тона*, — я в неутешном горе.

Быть может, в один прекрасный день я осмелюсь оскорбить ваш слух оперой, и люди, которые когда-то были молодыми, скажут о ней, что в ней не чувствуется влияния *хорошей французской музыки*, — я заранее сгораю со стыда.

Так, то совершая ошибки, то прося прощения, то попадая впросак, то извиняясь, я до самой смерти буду стараться заслужить ваше снисхождение тем обезоруживающим простосердечием, с каким буду признавать свои ошибки и приносить свои извинения.

Что же касается *Севильского цирюльника*, то я принимаю сейчас почтительный тон не для того, чтобы вас подкупить, а потому что меня клятвенно уверяли, будто автору, хотя бы и потрепанному, но все же одержавшему в театре победу, остается лишь на предмет стяжания всех литературных лавров заслужить ваше, милостивый государь, одобрение и быть изруганному на все корки в нескольких газетах. Таким образом, если только вы соизволите пожаловать мне лавровый венок вашей благосклонности, то слава мне обеспечена, ибо я не сомневаюсь, что некоторые из господ журналистов не откажут мне в венке своей неблагосклонности.

Один из них, обосновавшийся с дозволения и одобрения в Буйоне, уже оказал мне энциклопедическую честь, уверив своих подписчиков, что в пьесе моей нет ни плана, ни единства, ни характеров, что она нисколько не занимательна и не смешна.

Другой, еще более простодушный, который, впрочем, не имеет ни дозволения, ни одобрения, не имеет даже энциклопедии, попросту пересказывает мою пьесу своими словами и присовокупляет к лавровому венку своей критики следующую лестную похвалу моей особе: «Репутация г-на Бомарше сильно пошатнулась. Порядочные люди поняли наконец, что когда из него поведергают павлиньи перья, то под ними окажется противная черная ворона, наглая и назойливая, как все вороны».

Так как я действительно имел наглость написать комедию *Севильский цирюльник*, то, дабы полностью

оправдать данное мне определение, я буду настолько назойлив, что покорнейше попрошу вас, милостивый государь, судить меня самостоятельно, не обращая внимания на критиков бывших, настоящих и будущих: вы же знаете, что газетчикам часто бывает положено по штату враждовать с литераторами; я буду до того назойлив, что прямо заявлю вам: раз вы взялись за мое дело, то, хотите вы или не хотите, вы непременно должны быть моим судьей, ибо вы — мой читатель.

Вы прекрасно понимаете, милостивый государь, что если бы вы, дабы не утруждать себя или же доказать мне, что я неправильно рассуждаю, наотрез отказались меня прочесть, вы сами допустили бы логическую ошибку, недостойную такого образованного человека, как вы: не будучи моим читателем, вы уже не могли бы быть тем лицом, к коему обращена моя жалоба.

В самом деле, если бы, невзирая на то, что я вас известным образом обязал, вам во время чтения вздумалось швырнуть мою книгу, это, милостивый государь, было бы равносильно тому, что во время любого другого судебного разбирательства вас унесла бы из залы заседаний смерть, или же какой угодно другой несчастный случай вывел бы вас из состава судей. Вы можете избежать суда надо мной, только превратившись в ничто, сделавшись отрицательной величиной, сойдя на нет, перестав существовать в качестве моего читателя.

Да и какой вам вред от того, что я ставлю вас над собой? После счастья повелевать людьми самая высшая честь — это судить их, ведь правда, милостивый государь?

Итак, мы с вами уговорились. Я не знаю никаких других судей, кроме вас, не исключая и господ зрителей, которые судят лишь в первой инстанции, а затем

нередко убеждаются, что их приговор отменен вашим судом.

Первоначально мое дело слушалось в их присутствии в театре, и эти господа много смеялись, так что я уже начал было думать, что выиграл процесс. Не тут-то было: журналист, обосновавшийся в Буйоне, утверждает, что смеялись не над кем иным, как надо мной. Но это, милостивый государь, выражаясь языком судейских, всего лишь гнусная прокурорская ябеда. Моя цель была — позабавить зрителей, и, если только они смеялись от души, значит, цель достигнута, все равно — смеялись они над моей пьесой или же надо мной самим. Вот почему я продолжаю думать, что выиграл процесс.

Тот же самый журналист уверяет, или во всяком случае намекает, что, желая заручиться поддержкой некоторых зрителей, я устраивал для них чтения в частных домах и этим особым почетом заранее их подкупал. Но и это, милостивый государь, есть лишь навет немецкого журналиста. Совершенно очевидно, что я ставил себе только одну задачу: ознакомить их с пьесой; я устраивал нечто вроде совещаний по существу дела. Если же мои советчики, высказав свое мнение, впоследствии попали в число моих судей, то, как вы сами понимаете, милостивый государь, я тут ни при чем: раз они чувствовали, что равнодушны к моему цирюльнику-андалусцу, им из деликатности следовало от этого уклониться.

Ах, если б они продолжали оставаться хоть немного равнодушными к этому юному чужестранцу! Нам бы с ним легче было тогда переносить мимолетнюю нашу невзгону. Таковы люди: вы пользуетесь успехом — вас принимают с распростертыми объятиями, от вас не отходят, за вами ухаживают, вами гордятся. Но бойтесь оступиться. Помните, друзья

мои: малейшая неудача — и друзей у вас как не бывало.

Это-то самое и случилось с нами сейчас же после того наизлополучнейшего вечера. Надо было видеть, как малодушные друзья цирюльника старались замешаться в толпу, отворачивались или же убегали. Женщины, всегда такие смелые, когда они что-либо поощряют, тут надвигали чуть не до бровей капюшоны и в смущении опускали глаза. Мужчины спешили побывать друг у друга, принести покаяние в том, что они хвалили мою пьесу, и объяснить мою проклятою манерою чтения то обманчивое удовольствие, которое они испытали. Это было повальное отступничество, истинное бедствие.

Одни, да простит им Господь, как только замечали, что я показался справа, сейчас же направляли лорнеты налево и притворялись, что не видят меня. Другие, более отважные, удостоверившись, что никто на них не смотрит, тащили меня в угол и говорили:

— Как же это вам так удалось обмануть нас? Ведь, сказать по совести, любезный друг, ваша пьеса — это нечто в высшей степени пошлое.

— Увы, господа, я действительно читал эту пошлость так же пошло, как написал ее. Но если уж вы так добры, что разговариваете со мной после моего провала, то вот вам мой совет: чтобы и второй ваш приговор не был опорочен, не допускайте новой постановки моей пьесы на сцене. А вдруг как на грех ее сыграют так, как я ее читал? Чего доброго, вы снова дадитесь в обман и еще, сохрани Бог, рассердитесь на меня, потому что окончательно запутаетесь в том, когда же вы были правы, а когда ошибались.

Мне не поверили. Пьеса моя была играна снова, и на сей раз я оказался пророком в своем отечестве. Бедный Фигаро, выпоротый завистниками в качест-

ве трутня и почти погребенный в пятницу, поступил не так, как Кандид: набравшись храбрости, мой герой восстал в воскресенье, и ни строгий пост, ни усталость после семнадцати публичных выступлений не отразились на жизненной его силе. Но кто знает, как долго это продлится? Я не поручусь за то, что через пять-шесть столетий о нем будут еще помнить, — до такой степени наша нация непостоянна и легкомысленна!

Драматические произведения, милостивый государь, подобны детям. От них, зачатых в миг наслаждения, выношенных с трудом, рожденных в муках и редко живущих столько времени, чтобы успеть отблагодарить родителей за их заботы, — от них больше горя, чем радости. Проследите за их судьбой: стоит им увидеть свет, как под предлогом удаления опухолей их подвергают цензуре, — из-за этого многие из них остались недоразвитыми. Вместо того чтобы осторожно играть с ними, жестокий партер толкает их и валит с ног. Нередко актер, качая колыбель, их калечит. Стоит вам на мгновение потерять их из виду, и — о ужас! — растерзанные, изуродованные, испещренные пометками, покрытые замечаниями, они уж Бог знает куда забрели. Если же им и удастся, избежав стольких несчастий, на краткий миг блеснуть в свете, то самое большое несчастье их все-таки постигает: их убивает забвение. Они умирают и, вновь погрузившись в небытие, теряются навсегда в неисчислимом множестве книг.

Я спросил одного человека, чем объясняются эти битвы, эта ожесточенная война между партером и автором на первом представлении даже таких пьес, которые впоследствии будут нравиться зрителям. «Разве вы не знаете, — ответил он, — что Софокл и престарелый Дионис умерли от радости, когда их наградили

за стихи в театре? Мы очень любим наших авторов, и мы не можем допустить, чтобы радостное волнение оказалось для них слишком сильным и отняло их у нас. Вот почему, стремясь уберечь их, мы прилагаем все усилия к тому, чтобы их торжество никогда не было полным и чтобы они не могли умереть от счастья».

Каковы бы ни были причины подобной суровости, плод моего досуга, юный невинный цирюльник, встреченный таким презрением в первый день, но далекий от мысли по прошествии нескольких дней воспользоваться своим торжеством и отомстить критикам, приложил только еще больше стараний, чтобы обезоружить их веселостью своего нрава.

Это, милостивый государь, случай редкий и поразительный в наш век мелочных дрязг, когда рассчитано все, вплоть до смеха, когда малейшее различие во мнениях вызывает вечную ненависть, когда любая шутка превращается в войну, когда брань, давая отпор брани, сама получает в ответ брань, тотчас же посылает другую, которая затмевает предыдущую и порождает новую, а та в свою очередь плодит еще и еще, и так обиды множатся до бесконечности, вызывая у самого язвительного читателя сначала смех, потом пресыщение, затем отвращение и в конце концов негодование.

Я лично, милостивый государь, если только это правда, что все люди — братья (а ведь мысль-то сама по себе прекрасная!), я бы хотел уговорить наших братьев литераторов помириться на том, что к заносчивому и резкому тону в спорах будут прибегать только наши братья пасквилянты, которые отлично умеют не оставаться в долгу, а к брани — наши братья сутяги, которые тоже в высшей степени обладают этим умением. Больше же всего мне бы хотелось уговорить наших

братьев журналистов отказаться от того поучающего и наставительного тона, которым они распекают апологических питомцев и вызывают смех у глупости наперекор рассудку.

Разверните газету. Не создается ли у вас впечатления, что вы видите перед собой строгого наставника, который замахивается линейкою или же розгою на нерадивых школяров и обращается с ними как с невольниками за малейшее уклонение от их обязанностей? Кстати об обязанностях, братья мои: литература — это отдых от обязанностей, это приятное времяпрепровождение.

Во всяком случае мой-то ум вы уж не надеетесь подчинить в этих играх своей указке: он неисправим, и, как только обязательный урок кончился, он становится крайне легкомысленным и шаловливым и может только резвиться. Будто оперенная пробка, отскакивающая от ракетки, он взвивается, вновь опускается, снова, веселя мой взор, устремляется вверх, перекувыркивается и, наконец, возвращается обратно. Если какой-нибудь искусный игрок изъявляет желание принять участие в игре и начать перекидываться со мною легким воланом моих мыслей, я бываю рад от всей души; если он отбивает изящно и легко, я втягиваюсь в игру, и начинается увлекательная партия. Тогда вы можете видеть, как удары посылаются, отражаются, принимаются, возвращаются, учащаются, становятся проворнее, даже, если хотите, задорнее, и вся игра ведется с такой быстротою и ловкостью, которая способна и повеселить зрителей, и вдохновить актеров.

Вот, собственно говоря, милостивый государь, какую должна быть критика, и таким я всегда представлял себе спор между благовоспитанными людьми, которые занимаются литературой.

А теперь давайте посмотрим, сохранил ли в своей критике буйонский журналист тот любезный, а главное, искренний тон, который я только что отстаивал.

Моя пьеса — не то фарс, не то фарш, — заявил он.

Не будем спорить против кличек. Неудачные названия, которые повар-иностранец дает французским блюдам, ничуть не меняют их вкуса: они становятся хуже только после того, как пройдут через его руки. Давайте разберем буйонский фарш.

В пьесе отсутствует план, — заявляет журналист.

Может быть, мой план слишком прост и потому именно ускользает от пронизательных взоров этого молодого критического дарования?

Влюбленный старик собирается завтра жениться на своей воспитаннице. Юный ее поклонник, как более ловкий, предупреждает его и в тот же день сочетается с нею законным браком под самым носом опекуна, у него же в доме. Вот основа моего произведения: на ней с одинаковым успехом можно было бы построить трагедию, комедию, драму, оперу и так далее. Не на этом ли построен *Скупой Мольера*? Не на этом ли построен *Великий Митридат*? Жанр пьесы, как и всякого действия вообще, зависит не столько от положения вещей, сколько от характеров, которые и приводят их в движение.

Я же лично не собирался делать из этого плана ничего иного, кроме забавной, неустомительной пьесы, своего рода *imbroglio*¹, моим воображением владела отнюдь не серьезная пьеса, но превеселая комедия, потому-то в качестве лица, ведущего интригу, мне понадобился не мрачный злодей, а малый себе на уме, человек

¹ Путаница (ит.).

беспечный, который посмеивается и над успехом, и над провалом своих предприятий. И только благодаря тому, что опекун у меня не так глуп, как все те, кого обыкновенно надуют на сцене, в пьесе появилось много движения, а главное, пришлось сделать более яркими других действующих лиц.

Если б я, вместо того чтобы остаться в пределах комедийной простоты, пожелал усложнить, развить и раздуть мой план на трагический или драматический лад, то неужели же я упустил бы возможности, заключенные в том самом происшествии, из которого я взял для сцены как раз все наименее потрясающее?

В самом деле, теперь ни для кого уже не является тайной, что в ту историческую минуту, когда пьеса у меня весело заканчивается, ссора между доктором и Фигаро из-за ста экю начинает принимать серьезный характер уже, так сказать, за опущенным занавесом. Перебранка превращается в драку. Фигаро бросается на доктора с кулаками, доктор, отбиваясь, срывает с цирюльника сетку, и все с удивлением обнаруживают, что на его бритой голове выжжен шпатель. Слушайте меня внимательно, милостивый государь, прошу вас.

При виде этого доктор, как сильно ни был он избит, восторженно восклицает: «Мой сын! Боже, мой сын! Мой милый сын!..» Однако же Фигаро не слышит этих слов — он с удвоенной силой лупит своего дорогого папашу. Это и в самом деле его отец.

Фигаро, вся семья которого в давнопрошедшие времена состояла из одной лишь матери, является побочным сыном Бартоло. Доктор в молодости прижил этого ребенка с чьей-то служанкой; служанка из-за последствий своего легкомыслия лишилась места и оказалась в самом беспомощном положении.

Однако ж, прежде чем их покинуть, огорченный Бартоло, в то время подлекарь, накалил свой шпатель и наложил клеймо на затылок сына, чтобы узнать его, если судьба когда-нибудь их сведет. Мать и сын стойко переносили лишения, а шесть лет спустя некий потомок Луки Горика¹, предводитель цыган, который кочевал со своим табором по Андалусии и которого мать Фигаро попросила предсказать судьбу ее сыну, похитил у нее ребенка, а взамен оставил в письменном виде следующее предсказание:

Кровь матери своей он пролил бессердечно,
Злосчастного отца он поразил потом,

¹ Лука Горик — знаменитый астролог XV — XVI веков. Он был настолько знаменит, что обманным путем и благодаря своей смелости вошел в доверие к нескольким папам и добился епископского сана.

Юлий II, Лев X и Климент VII оказывали ему знаки наивысшего уважения как раз в то время, когда север Европы начинал освобождаться от папского ига и гнета тех суеверий, на которых основывалась известность Луки Горика. Павел III рукоположил его в епископы в Чивита Кастеллана.

Многие государи того времени обращались к нему за предсказаниями. Екатерина Медичи просила его предсказать по расположению светил судьбу Генриха II. Он ответил, что этот король доживет до глубокой старости, *extrema senectute*, и умрет самой тихой смертью, *morte placidissimo*, а между тем Генрих II был убит на турнире в сорокалетнем возрасте.

Лука Горик, кроме того, написал трактат «*De miraculosa eclipsi in passione Domini observata*» [«О чудесном затмении, наблюдавшемся во время страстей Христовых» (*лат.*)], хотя в то время никаких затмений не было.

Говорили, что некто Джованни Бенгиволио, возмущенный предсказаниями, грозившими ему изгнанием из его небольших владений, невзирая ни на митру, ни на известность Луки Горика, велел его повесить. Но это сказки. Лука Горик, если верить де Ту, родился в Анконской области, по другим же сведениям — в Джиффони, в королевстве Неаполитанском, а умер в Ферраре, приблизительно в 1536 году, семидесяти с лишним лет.

Но ранил собственным себя он острием
И вдруг законным стал и счастлив бесконечно!¹

Изменив, сам того не подозревая, свое общественное положение, злосчастный юноша, сам того не желая, изменил и свое имя: он вступил в зрелый возраст под именем Фигаро; он не погиб. Его мать — это та самая Марселина, которая уже успела состариться и теперь ведает хозяйством у доктора; потеряв сына, она нашла утешение в ужасном этом предсказании. И вот ныне оно сбывается.

Пустив Марселине кровь из ноги, как это видно из моей пьесы, или, вернее, как это из нее не видно, Фигаро тем самым оправдывает первый стих:

Кровь матери своей он пролил бессердечно.

Когда, после закрытия занавеса, он, не ведая, что творит, колотит доктора, он тем самым подтверждает правильность второй части предсказания:

Злосчастного отца он поразил потом.

Вслед за тем наступает трогательнейший момент: доктор, старуха и Фигаро узнают друг друга. «Это вы! Это он! Это ты! Это я!» Какая эффектная сцена! Однако ж сын, придя в отчаяние от простодушной своей вспыльчивости, заливается слезами и, согласно третьему стиху, хватается за бритву:

Но ранил собственным себя он острием.

Какая картина! Не подлежит сомнению, что если бы я не пояснил, собирается ли Фигаро перерезать себе

¹ Стихи в комедии «Севильский цирюльник» и в предисловии к ней переведены Т. А. Щепкиной-Куперник. — Ред.

горло, или всего только побриться, у пьесы получился бы необыкновенно сильный конец. В заключение доктор женится на старухе, и Фигаро, в соответствии с последним прорицанием,

...вдруг законным стал и счастлив бесконечно!

Какая развязка! Для этого мне пришлось бы написать шестой акт. И какой шестой акт! Еще ни одна трагедия во французском театре... Довольно! Возьмем пьесу в том виде, в каком она была играна и подвергнута критике. Раз меня бичуют за то, что я сделал, нечего расхваливать то, что я мог бы сделать.

В пьесе неправдоподобен самый ход событий, — замечает все тот же газетчик, с *дозволения и одобрения* обосновавшийся в Буйоне.

Неправдоподобен? Что ж, давайте от нечего делать разберемся и в этом.

Его сиятельство граф Альмавива, коего близким другом я имею честь быть с давних пор, представляет собой юного вельможу, вернее сказать, он когда-то был таковым, ибо возраст и видные должности превратили его, как и меня, в человека весьма степенного. Итак, его сиятельство был юным испанским вельможей, страстным и пылким, как и все влюбленные испанцы, — испанцы ведь совсем не холодны, как принято думать, а только ленивы.

В Мадриде он мельком увидел некую прелестную особу; вскоре после этого опекун увез ее обратно на родину, а он тайно от всех поехал следом за ней. Целую неделю расхаживал он под ее окнами в Севилье, пытаясь обратить на себя ее внимание, и вот однажды утром случай привел туда же цирюльника Фигаро. «Ага, случай! — скажет мой критик. — А если бы случай не привел в тот же день и на то же место цирюльника,

что случилось бы с пьесой?» — «Она началась бы в какое-нибудь иное время, брат мой». — «Это невозможно, в пьесе ясно сказано, что опекун должен был жениться на своей воспитаннице на другой день». — «Тогда, значит, не было бы и всей пьесы, или если бы она и была написана, брат мой, то уже по-другому. Разве событие становится неправдоподобным только оттого, что оно могло произойти иначе? Право же, вы придираетесь. Кардинал де Ретц преспокойно сообщает нам: „Однажды мне необходим был один человек. В сущности говоря, я желал невозможного: мне хотелось, чтобы он был внуком Генриха Великого, чтобы у него были длинные белокурые волосы, чтобы он был красив, хорошо сложен, чтобы он был сорвиголова, чтобы он умел пользоваться языком рынка и любил рынки; и вот случай сводит меня в Париже с господином де Бофором, бежавшим из королевской тюрьмы; он оказался именно таким человеком, который был мне нужен“. Так вот, кому же придет в голову, читая этот рассказ, возразить коадьютору: „Ага, случай! А если бы вы не встретили господина де Бофора? А если бы то, а если бы другое?..“».

Итак, случай привел туда же цирюльника Фигаро, красная, кропателя стишков, отважного певца, неутомимого гитариста, бывшего графского камердинера. Проживая в Севилье, он с успехом брил бороды, сочинял романсы и устраивал браки, с одинаковым искусством владел и ланцетом хирурга и аптекарским пестиком, являл собою грозу мужей и любимчика жен, — словом, он оказался именно таким человеком, который был нам нужен. А так как то, что обыкновенно называется страстью, есть не что иное, как желание, при стремлении к чему-либо воспламеняющееся от преград, то юный поклонник, который, повстречай он эту красавицу в свете, быть может, испытал бы лишь минутное

увлечение, влюбился в нее именно потому, что ее держат взаперти, влюбился до такой степени, что готов сделать все возможное и невозможное, только бы на ней жениться.

Впрочем, милостивый государь, подробно излагать вам здесь содержание моей пьесы значило бы выказать недоверие к вашей догадливости, значило бы предположить, что вы не сумеете сразу же уловить замысел автора и в слегка запутанном лабиринте потеряете из виду нить интриги. Будучи не столь проникательным, как буйонская газета, с дозволения и одобрения неправильно представляющая себе весь ход пьесы, вы, однако ж, увидите, «что все усилия любовника направлены» *не на то, чтобы* «просто-напросто передать письмо»: письмо — это лишь незначительная частность в развитии интриги, а, уж конечно, на то, чтобы проникнуть в крепость, которую защищают бдительность и недоверчивость; главное же — на то, чтобы обмануть человека, который все время разгадывает хитрости противника и вынуждает его довольно-таки ловко изворачиваться под угрозой с первых же шагов быть выбитым из седла.

Когда же вы увидите, что вся прелесть развязки состоит в том, что опекун запер дверь, а ключ отдал Базилу, чтобы только он да нотариус могли войти и заключить его брачный договор, то вас, конечно, удивит, что столь справедливый критик, то ли сознательно злоупотребляя доверием читателя, то ли искренно заблуждаясь, пишет, да еще в Буйоне, такие вещи: «Графу для чего-то пришлось вместе с Фигаро лезть на балкон по лестнице, хотя дверь была не заперта».

Наконец, когда вы увидите, что бедняга опекун, обманутый, несмотря на все меры предосторожности, которые он предпринял, чтобы избежать этого, в ито-

ге вынужден подписать брачный договор графа и дать согласие на то, чего он не сумел предотвратить, вы уж предоставьте критику решить, такой ли «болван» опекун, что не разгадал интриги, тщательно от него скрывавшейся, если сам критик, от которого ровно ничего не скрывали, разгадал ее не лучше, чем опекун.

В самом деле, если бы критик постиг ее, мог ли бы он не похвалить все удачные места в пьесе?

Что он проглядел, как уже в первом действии намечаются и весело раскрываются характеры действующих лиц, это еще можно ему простить.

Что он не заметил некоторого комизма в большой сцене второго действия, где, невзирая на недоверие и ярость ревнивца, воспитаннице удастся ввести его в заблуждение по поводу письма, переданного ей в его присутствии, и заставить его на коленях просить прощения за проявленную им подозрительность, это мне еще понятно.

Что он ни единым словом не обмолвился о сцене недоумения Базиля в третьем действии, сцене, которая представляет собой нечто совершенно новое для нашего театра и которая так смешила зрителей, это меня несколько не удивляет.

Пусть от него ускользнуло то затруднительное положение, в какое автор добровольно поставил себя в последнем действии, вынудив воспитанницу признаться опекуну, что граф похитил ключ от жалюзи, и как потом автор, не тратя много слов, выпутывается из этого положения и обращает в шутку ту новую тревогу, которую он вселил в умы зрителей. В сущности, это не так важно.

Положим, он просто упустил из виду, что в пьесе, одной из самых веселых, которые когда-либо шли на сцене, нельзя найти ни малейшей двусмысленности, ни

СОДЕРЖАНИЕ

СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК, ИЛИ ТЩЕТНАЯ ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ	5
БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО	117

Литературно-художественное издание

БОМАРШЕ
СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК,
ИЛИ ТЩЕТНАЯ ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ
БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТБВА ФИГАРО

Ответственный редактор Галина Соловьева
Художественный редактор Валерий Гореликов
Технический редактор Татьяна Тихомирова
Компьютерная верстка Алексея Положенцева
Корректор Ксения Зобова

Главный редактор Александр Жикаренцев

Подписано в печать 16.02.2019. Формат издания 75 × 100 ¹/₃₂.
Печать офсетная. Тираж 2000 экз. Усл. печ. л. 13,4. Заказ №

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):

16+

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —
обладатель товарного знака АЗБУКА®
115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, эт. 2, пом. III, ком. № 1

Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» в Санкт-Петербурге
191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А

ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
Тел./факс: (044) 490-99-01. E-mail: sale@machaon.kiev.ua

Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат»
143200, г. Можайск, ул. Мира, д. 93



www.oaompk.ru, www.oaompk.rf
Тел.: (495) 745-84-28, (49638) 20-685

ПО ВОПРОСАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

В Москве: ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
Тел.: (495) 933-76-01, факс: (495) 933-76-19
E-mail: sales@atticus-group.ru; info@azbooka-m.ru

В Санкт-Петербурге: Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
Тел.: (812) 327-04-55, факс: (812) 327-01-60
E-mail: trade@azbooka.spb.ru

В Киеве: ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
Тел./факс: (044) 490-99-01. E-mail: sale@machaon.kiev.ua

Информация о новинках и планах на сайтах:
www.azbooka.ru, www.atticus-group.ru



Y-ACB-8568-03-R